Vladimir Bukovsky, interview with Philip Boobbyer, Cambridge, June 1995, Russian transcript and English summary

Часть 1

[...] Вам кажется, что это не очень хорошая идея писать об этой теме или есть какие-то сложности.

ВБ: Ну, идея хорошая как бы, почему же нет. Конечно, это можно. Только не надо забывать, что Вы как бы судите об очень редком явлении, это явление исключительное – появление совести. Вот я говорю, как она проявилось после смерти Сталина: у кого она проснулась, у того она проснулась, у других она уже не проснулась и не могла больше проснуться, искать сейчас её пробуждения бессмысленно; она не пробудилась. Оказалось крайне малое количество людей, у которых она могла пробудиться. Вообще, с моей точки зрения, коммунист – это... Если вот дать определение коммунисту, как ему дать определение? Вот меня однажды спросили на лекции, мол, Вы всё говорите, вот, коммунисты, а в чём дело, и как их отличить от других людей? А вот их отличие в том и состоит, что это люди, у которых нет и не может быть совести.

ФБ: По-вашему, что значит слово совесть, что есть совесть?

ВБ: Ну совесть... если Вы хотите, чтобы я Вам дал определение философское, я могу посмотреть в словаре, как оно определяется.

ФБ: Нет, не особенно …

ВБ: По крайней мере, люди понимали, что правильно, что неправильно, они понимали. Они могли себя вести, конечно, соответственно тому, как им выгодно, но они знали, что правильно, а что – нет. Потом это всё смешалось. Это всё смешалось в основном в горбачевскую эпоху.

ФБ: Но откуда люди в 60-е знали?

ВБ: По-моему, этого нельзя было не знать, вещь была очень очевидная, понимаете? Я не вижу в этом большой проблемы. На самом деле вопрос ведь был не в том, что сложно разобраться. Разобраться было элементарно. Все эти проблемы элементарные. Вопрос был только в том, хватает человеку мужества на этом настаивать или нет. Вот в этом был весь вопрос. Вопрос выбора был. Но то, что выбор этот есть, понимал каждый, и тот, кто говорит, что его не видел – врёт. Просто врёт. Надо было быть клиническим идиотом, чтобы этого не видеть. Но если я в 14 лет понимал ровно то же самое, что я понимаю про коммунизм сегодня, в основе своей – потом только детали добавились – почему же другой человек не может этого понять в 20 или в 25? Этого не может быть.

ФБ: Что подталкивало Вас на то, чтобы слушать голос совести?

ВБ: Что *меня* толкало – это отдельный разговор. Я говорю про самого рядового, самого обыкновенного человека, этого нельзя было не видеть, потому что это было очевидно.

Был даже такой анекдот, замечательный, в те годы про то, как человек пришел к врачу в больницу и говорит: «Дайте мне специалиста по глазу и уху. Ему говорят: «Таких специалистов нет, есть или глазные врачи, или ухо-горло-нос. А почему вам надо по глазу и уху?» Он говорит: «У меня такая проблема, доктор: я не вижу то, что я слышу и не слышу то, что я вижу». Понимаете? У вас есть конфликт – то, что мы в психологии называем conflicting flow of information, obvious discrepancy (анг.). Не видеть этого – нельзя, потому что ты это не просто видишь, это травмирует человека, это травма психологическая, когда ты видишь всё время ложь, всё время обман, и ты не можешь никуда от этого деться – оно слишком очевидно.

ФБ: Это травма тоже, когда люди говорят ложь и знают, что это ложь, наверное, это болезненно?

ВБ: Конечно, это травма, конечно. Даже если человек этого не сознаёт изначально, что это травма, это обязательно потом скажется. Людей, которые бы не понимали, что это ложь, не существовало. Их просто не существовало. Я это утверждаю совершенно ответственно. Даже клинические идиоты, с которыми мне приходилось сидеть в психбольнице, понимали это.

ФБ: В Вашем случае, где Вы нашли его храбрость и мужество слушать [голос совести]? Потому что многие не слушали, многие приняли эту систему. Иметь мужество – это редкое дело. Откуда это в Вас?

ВБ: Ну, я не буду упирать особенно на мужество. Дело в том, что это, во-первых, случайность. Это случайно связано, так сказать, со временем рождения, да? То есть вот мне было легче. Потому что, скажем, Сталин умер, мне было 11 лет. А разоблачение его произошло, когда мне было 14 лет, да? То есть это тот самый возраст, когда у человека формируется представление, и когда он склонен относиться критически, то есть как бы бунтовать, да? Для меня не было никакого сомнения в том, что система порочна, преступна...

ФБ: Никогда?

ВБ: Абсолютно. Сколько я себя помню. Ну вот с 14-ти лет точно. Но вот когда началось это разоблачение Сталина, там было несколько вещей, которые меня поразили. Поразило меня на самом деле не столько, так сказать, разоблачение самого Сталина, хотя до 11-ти лет я воспитывался с мыслью, что он – бог... Потом бог умер, что является противоречием. Значит, я уже знал, что меня обманывали.

ФБ: Знал откуда, потому что там много плакали?

ВБ: Во-первых потому, что бог умереть не может. По определению. Если бог, то он бессмертен. Когда начинают сообщать о почках, печени и состояние легких у бога – это что-то ненормальное – у бога не должно быть печени, почек и лёгких, а уж когда он умирает, тем более. Значит, что я уже знал свои 11 лет...

ФБ: Вы это узнали сами по себе или через разговоры с родителями, друзьями?

ВБ: Нет, родители молчали. Старшее поколение молчало совершенно, им нечего было сказать. Во-первых, они боялись – кто знает, что мы повторим, да? А во-вторых, им просто нечего было сказать. Это потом мы их уже стали расспрашивать. Вот когда нам было лет по 16, мы уже стали их расспрашивать: а как же, мол, вы жили-то и так далее, но это отдельный разговор. А вот в свои 11 лет я знала одну вещь. Вот я никогда не забуду эту сцену: я сидел – город-то был перекрыт на похоронах Сталина – но мы, значит, пацаны, уличные мальчишки по крышам залезли на Националь. И вот с крыши Националя мы смотрели на эту огромную площадь – Манежная, улица Горького – запруженную народом, который пришел смотреть на товарища Сталина в гробу. Вот это я никогда не забуду. Я помню очень четко 2 ощущения, которые у меня были, очень четко, пронзительно: первое – что это исторический момент, что это огромное событие, и второе – что власти больше нет. Вот он умер, нету власти больше. И вряд ли она уже будет. Для 11-ти лет это очень неожиданная мысль (смеётся), но она у меня была.

ФБ: Это были для Вас в то время неожиданные мысли?

ВБ: Да, абсолютно, я никогда вообще о политике не думал, ну 11 лет, кто думает о политике?

ФБ: Да, интересно. И откуда вот эти мысли появились?

ВБ: Просто, видя это всё, ты видишь, что это действительно событие. Это не фикция, это не выдумано.

ФБ: Ваши друзья тоже так думали?

ВБ: Я думаю, что да, потому что ведь эти ощущения, они общие. Когда ты с кем-то – это ощущение, которое ты делишь. Я думаю, что да, может быть, они не смогли бы это так выразить... Я тогда это так выразить бы не мог словами, вербализовать. Я только помню это ощущение пронзительное, что я присутствую при действительно историческом событии, событии колоссального масштаба. Да? Вот это серьезно. Вот это надо запомнить.

ФБ: Да, я могу представить очень хорошо.

ВБ: И второе – что власти нет.

ФБ: Вы смогли описать себе это словами когда?

ВБ: Ну позже, позже, я уж не помню, когда я это... Но это как бы во мне жило, потому что это то, что меня поразило невероятно. Ощущение, что нет власти – оно ещё связано, видимо, с поведением людей. Потому что люди вели себя спонтанно. Это было что-то новое. До этого я видел людей, которые вели себя под гнетом власти. Вот они были как бы, как марионетки, они были несвободны. Вот в этот миг они были свободны.

ФБ: Вот в этот миг? И потом это поменялось?

ВБ: Вот!

ФБ: Так это был только миг, когда была спонтанность?

ВБ: Это был миг, да. А потом следующее, что произошло, когда они все... Я видел всё это народное горе, школы были закрыты, учителя рыдали и так далее... А через 2 года, Хрущев рассказал, как какой преступник был Сталин, и все это тут же приняли.

ФБ: Вы это заметили?

ВБ: Именно! Меня поразило в этом не столько разоблачение Сталина, сколько реакция людей. Это я тоже очень хорошо помню. Понимаете? То, что со Сталиным было что-то не то, я уже понял, когда он умер – тот факт, что он умер уже значит, что что-то тут не то – меня обманывали; он не должен был умирать (смеётся). Раз он умер, значит, что врали уже, да? Так что его разоблачения меня не поразили. Меня поразила гораздо больше реакция людей. То есть 2 года назад, они ревели. Через 2 года, когда им сказали, что это преступник, они согласились. Минуточку, не может такое произойти [так быстро], значит, они всегда знали, что он преступник, значит, они врали, значит их слёзы, они тоже были слёзы, скорее, истерические..? Ну не сходятся вещи!

ФБ: Да, интересно, да.

ВБ: Это, я помню, меня очень сильно поразило и наверное самое сильное, в общем-то, влияние на мою жизнь это оказало.

ФБ: Для Вас это было ключевым моментом.

ВБ: Абсолютно. После этого я знаю одну вещь, вот четко совершенно, она осталась у меня рефлексом на всю жизнь: я никогда не согласен с большинством. Я не могу быть согласен. В любой ситуации. Рефлекс мой – если вся толпа бежит налево, идти направо – это мой рефлекс. Потому что я видел, что вся огромная страна, вся, была не права. Сначала плакав, а потом приняв, да? Значит, для меня факт, который для многих было оправданием – вот все так считают, everybody thinks like this (анг.) – для меня это не доказательство. Потому что я рано своей жизни видел факт, что everybody was wrong (анг.).

ФБ: Да, это интересно, потому что ощущение того, что это ложь, привело к тому, что Вы никогда не хотели принять того, что говорит толпа...

ВБ: Нет, это возникло здесь. До этого я был обычный ребенок. Ну как, меня приняли в пионеры, я ходил в пионеры...

ФБ: А это потом?

ВБ: А это в 11 лет, когда умер Сталин, я помню, вот эти вещи начались. А через 2-3 года начались разоблачения.

ФБ: Да, но эта реакция на людей, это когда было?

ВБ: Вот эти 2-3 года, она сформировалась. Тут я сделал вывод, что вся страна не права, что может быть такая ситуация, когда абсолютно все вокруг тебя не правы, а стало быть полагаться ты должен только на свою собственную оценку (смеётся), ты не можешь полагаться на их реакцию (смеётся).

ФБ: Это значит, что Вы начали как бы верить в существование правды?

ВБ: Нет...

ФБ: Я не имею в виду объективно...

ВБ: Ну нет, Филип, это философия... Если хотите, мы можем [затронуть эту тему]... Ощущение правды существует у человека всегда. Оно существует у животных, оно существует у кого угодно. Оно в него заложено природой.

ФБ: Мы знаем это, но большинство ученых на Западе не знают этого.

ВБ: Ну они не хотят об этом думать или не хотят, опять-таки, это признавать.

ФБ: Да, да, но я думаю, что это довольно важно.

ВБ: Это ничего не значит. Люди такие, как Ты, делают из этого выводы далекоидущие. Они делают вывод о существовании Бога. Я из этого не могу, как ученый, привыкший анализировать, я не могу такого вывода сделать. Понимаете? Это ничего не доказывает. Это просто доказывает, что так устроен наш мозг. У нас есть понятие *правда*, так устроена наша биология, больше ничего. Так же, как у нас есть понятие *равенство*, хотя в природе нет двух равных вещей, их нельзя найти, их не существует в реальности. Да? А у нас, в голове, есть понятие равенства. Правда одинаковости, а одинаковости нет в природе – это бесполезно. Эмпирически, ты этого знания не приобретёшь, значит, это знание заложено в тебе структурно, так сложена твоя биология, ну и так далее. Я могу Вам найти много вещей, которые существуют только у нас в мозгу – это наш артефакт...

ВБ: Я знаю, это Кантианская позиция.

ВБ: Да. Ну а я занимался всю жизнь физиологией мозга, поэтому я исхожу из этого. Вот это я понимаю, я изучаю физиологию, это то, что в нас заложено – это наш артефакт.

ФБ: Что не совсем ясно – это почему Вы, в отличие, наверное, от Ваших школьных товарищей, решили действовать по этой [...]

ВБ: Нет, действовать я решил потом.

ФБ: [...] Но и у них, и у Вас была такая же структура мозга, но выборы были различные. Почему?

ВБ: Выбор делается разный, но это дальше уже пошло. Тут я никакого выбора не делал, тут я только вдруг понял это. Ощущение правды-неправды заложено в человеке

изначально, тут моей заслуги нет. То, что я это увидел, я думаю, что увидели все в тот момент. Это не было моё личное переживание, я думаю, что это все увидели. Потому что реакция была неадекватная, она была невротическая реакция – явно, что это все увидели, и последующие события это показали. Хорошо. А дальше началось естественное уже – ты растешь, у тебя появляется анализ. Пятьдесят-шестой год, Венгрия. Венгрия на меня произвела, может быть, даже большее впечатление, чем разоблачение Сталина, потому что она доказывала очень простую вещь: ничего не изменилось.

ФБ: Это в каком месяце, после речи Хрущева?

ВБ: Да, это была осень, ноябрь. А речь Хрущёва, она в начале года была в 56-м году, 20-й съезд.... А это ноябрь. И вот между началом 56-го года и концом – это мне 14 лет было – очень простой вывод, сразу после вторжения в Венгрию, вывод очень простой: система не изменилась. Мало было того, что сказали о преступлениях Сталина, этого ничего не меняет, система осталась та же. Она работает так же, у нее такие же реакции, она не меняется. Венгрия сильное на меня произвела впечатление, особенно, наверное, еще потому, что венгерскую революцию делали подростки, и мне было легко как бы to identify myself with them (анг.) Да, вот это был важный момент. Так что здесь есть элемент случайности. Люди, которые были старше меня, могли иметь иную реакцию на эти вещи, понимаете? Люди, которые родились через 10 лет, наверняка имели другую реакцию. Так что это несколько уникально и случайно – что эти события пришлись на годы формирования характера. Вот такая вещь была.

ФБ: Значит, Вы – просто продукт [своего времени] и тех обстоятельств, с которыми Вы столкнулись.

ВБ: Ну продукт в том смысле, что у меня это так рано появилось. Я утверждаю, что у любого человека этот комплекс мыслей должен был прийти, только позже, в других обстоятельствах, может быть менее острым. Для меня это было остро.

ФБ: Из-за того, что Вы были молоды, Вы смогли выбрать направление для жизни, в то время, когда другие, может быть, уже пошли на какой-то компромисс с системой и для них было слишком поздно.

ВБ: Да, они уже втянулись. Ну, например, в 14 лет нам предлагали вступать в комсомол, я отказался. Хотя до конца сформулировать, почему я отказываюсь, я не мог. Вот так сесть обстоятельно объяснить – я не мог, но инстинкт мой...

ФБ: И Вы отказались на основе инстинкта, или просто подумали и сказали «нет»?

ВБ: Я отказался сразу. И скорее интуитивно, нежели... Сформулировать в то время точно *почему* – я, наверное, бы не смог. До такой степени вербализации, я бы не мог... Хотя я понимал, комплекс ощущений был сразу же, что это что-то преступное, это порочная вещь, и к ней прикасаться не надо. Это то же самое, что было: вот Сталин, вот репрессии, вот преступления, вот Венгрия – это всё одно и то же, и я туда не хочу. Хотя

мне прямо сказали: “Ну смотри, а будешь в университет поступать – надо быть комсомольцем иначе могут не принять”. Ну я сказал: “Значит, не примут.”

ВБ: 14 лет, видите, первое как бы серьезное решение, связанное с политикой, хотя сформулировать политически это точно – я бы не смог.

ФБ: Ну … это характер?

ВБ: Характер, от природы. Есть люди упрямые и менее упрямые. Потом, ну еще анализ, так сказать, собственных поступков. Прошлое заставляло думать о том, как это произошло. Вот в 15-16 лет мы начали все пытать своих родителей. Значит, как же так произошло? Вот нам рассказывают: убили десятки миллионов людей, что вы в это время делали? Это, я думаю, шло во всех семьях. Или большинстве, по крайней мере. Потому что это был вопрос, который висел в воздухе. И вот тут начиналась целая, безграничная гамма философских [размышлений] (смеётся). Сначала они говорили, что они ничего не знали. Естественно. Как и в Германии, да? Ну это как бы не объяснение, потому что, что значит, не знал? Чего ты не знал? Ты не знал, что арестовывают и расстреливают людей? Этого не знать было нельзя – за это голосовали на собраниях! Ведь власть же всех повязывала круговой порукой, кровавой. Не просто расстрелять, а рабочие-колхозники должны проголосовать за то, чтобы врагов народа уничтожить (смеётся). То есть не знать ты не мог. Значит ты знал. Верили... Во что верили? Что это во благо? Что можно убить десятки миллионов людей? Ну хорошо, допустим, масштаба они могли не знать, мы до сих пор не знаем, сколько убили на самом деле... Но, что много – понятно, да? Ведь была же коллективизация, когда вымирала деревня, когда 10 миллионов вывезли. Как это можно было не знать? Умирали на дорогах, эти голодающие крестьяне, доползали до городов, как ты мог этого не знать? Это невозможно не знать. Дальше. Везде же арестовывали. Я помню, мне было, я думаю лет 7, у нас во дворе старика арестовали. То есть, что значит арестовали? Как его арестовывали – никто не видел. Но мы на утро проснулись, вышли и всё, говорят, вот, ночью забрали. И тут же разговор, а что такое? «А вот он сказал, что-то такое, он в разговоре кому-то сказал...» Если я в 7 лет это знаю, как мои родители могли этого не знать? Значит, знали. Значит, во что вы верили, что вот этого конкретного старика надо было уничтожить, потому что он в разговоре сказал, ну может быть и неверную вещь, но сказал...

ФБ: Вы думаете, что, когда человек делает один шаг по лжи, это уже меняет ситуацию для него, потому что [...]

ВБ: Или есть шкала ценностей, так сказать, scale of values (анг.) – это очень важно, что ты выбираешь в этих делах, какой ты... Человек – это концептуальная машина. Человек себе придумывает оправдания. Его тянет всегда, конечно, к тому, что удобнее, что легче, что приятнее, да? Но это иногда входит в конфликт с понятием совести, с понятием того, что правильно и неправильно. И чтобы облегчить этот выбор себе в пользу удобного, человек придумывает самооправдание – такая рационализация, да? Начинается: у меня семья, и если я там что-то сделаю не так, то пострадает семья, я не в праве это делать; у меня – талант, у меня замечательный голос, если я свой талант не осуществлю – это тоже плохо, а осуществить его можно только если ты будешь

конформистом... Начинается целый цикл самооправданий у человека, который подготавливает ему вот этот выбор, понимаете? И мы всё это поняли, говоря с нашими родителями: что они верили, потому что не знали, а не знали, потому что боялись знать, то есть сами себя обманывали. Понятие самообмана и понятие рационализирования, то есть создание цепи аргументов для того, чтобы оправдать самообман – вот как устроен человеческий тип. Как ни странно, этот комплекс довольно сложный психологически. Это всё мы начинали понимать когда нам было по 15-16 лет, пытаясь понять, что же произошло с нашими родителями. Вот что это было. Поэтому уже в применении к самому себе, ты начинаешь анализировать свои мотивы: раз ты в такой ситуации, где такой сложный выбор и так легко себя обмануть – вот перед тобой пример людей, которые себя обманули – ты начинаешь свои мотивы как бы ставить под сомнение, под вопрос question your motives (анг.). И поэтому ты как бы сам себя заставляешь вести себя более последовательно. Вот, что происходит в этой ситуации. Окажись всё иначе, родись я на 15 лет раньше, этого всего могло не быть. Я не знаю, что произошло бы в конце концов, но могло быть всё иначе. То, что я всё равно, так или иначе, с государством с этим пришёл бы в конфликт, я уверен. Потому что не прийти с ним в конфликт нельзя было – с ним приходили конфликт все. Только они разрешали этот конфликт разными путями, в одну или другую сторону. Вот так, в общем-то...

ФБ: Ваша страсть сказать правду в той же системе – это необъяснимо, если Вы думаете, что это просто характер.

ВБ: Нет, это объяснимо. У меня как бы hypersensitivity to it because I was deceived in childhood. I was deceived, I was told that Stalin was a God (анг.).

ФБ: Но многие были, тоже.

ВБ: Да. But then it turned out that I was deceived! Right? (анг.) (смеётся).

ФБ: Другие тоже?

ВБ: Правильно. Но моё поколение было более чувствительно к этим вещам, это точно совершенно. Поэтому для меня это была личная травма – меня обманули, я не могу им больше верить, никому. Вот что было ещё. Это повышает чувствительность. То есть от природы может быть одно, а это ещё как бы повышает чувствительность к этим вещам. Вот что произошло, если говорить биографически, да? Но элемент характера, конечно, тут был, то есть по природе меня упрямый характер, значит, я уж если начал делать, то я стал делать и так далее.

ФБ: Но были ли, например, моменты в течение Вашей жизни в советском режиме, когда вы совершили, по вашей этике, какой-то грех и сами сказали: «Вот, я что-то сделал плохо»? Были такие ситуации?

ВБ: Были, конечно, но они были более пограничные, не глобальные. Глобальное решение уже сделал, всё, я его никогда не менял. А пограничные были. Ну вот у нас была, скажем... Ведь до определённого года, вообще, этика была другая. Этика стала

меняться в 60-е годы, например. Например, считалось нормальным признавать свою вину под следствием. Старшее поколение нас учило, что, если тебя арестовало КГБ, никоим образом не запирайся, а то будут пытать. Вот признавайся, кайся... Другая сторона этой же философии была у них, что прикинуться советским человеком – это нормально. Первый арест, который у меня был – мне было 18 лет, это был 61-й год, начало года – я не признавал своей вины, но я прикинулся советским. Я сказал, мол, ну что Вы, я вполне советский... Потому что философия того времени говорила, что это нормально: ты обманул противника, ты потом оттуда вышел и можешь продолжить делать [что ты делал] – то есть это рациональный выход. Я никому этим не повредил, да? А как выяснилось потом, я повредил самому себе, потому что (смеётся), я думаю, они у меня второй раз бы так не арестовывали, если бы я себя так не повёл [прежде]. Тогда ничего не было, никакого дела не было, поговорили со мной и всё. И прошло где-то больше полугода, и нас опять всех загребли, арестовали. И я думаю, они меня тогда (смеётся)... Потому что, как я потом понял, у них же оценка психологических другая: насколько человек податлив. И если ты согласен играть – они же тоже отлично понимали, что я вру, что никаким советским человеком я не являюсь по природе (смеётся), они же психологи, это их профессия – но раз я на это иду, значит податлив, а раз податлив, значит, можно давить дальше – это психология КГБ, точная совершенно. Appeasement (анг.) с ними не работает (смеётся).

ФБ: Как это выяснилось, что Вы вредите самому себе?

ВБ: Это выяснилось позже.

ФБ: Как?

ВБ: Ну тем, что они, например, стали на меня давить больше.

ФБ: Но Вы чувствовали внутри себя, что Вы сделали что-то нехорошее или Вам было неловко?

ВБ: Ну неловко, конечно. То есть мне несвойственна роль такая – обманывать, я не умею это делать, хотя это делалось во имя правильной цели: вот ты выйдешь и тогда значит, соответственно, ты будешь продолжать... Вот. Сама по себе философия эта мне не очень нравилась, но я вполне был готов с ней как бы жить, бога ради, тем более, что это никого не задевало, да? Вот. Но когда меня арестовали второй раз, я понял, что во-первых с этим связано большее давление на меня, то есть они явно считают, что они смогут меня подавить, доломать...

ФБ: Они и думали, что они ‘взяли’ Вас?

ВБ: Да, раз я так себя повёл, то можно надавить больше. Я это очень точно понял тогда, это во-первых. А во-вторых, вопрос ведь подошёл опять-таки во время второго [ареста] к другому: признал, не признал виновным. И вот тут я виновным себя уже не признал, никоем образом, сказал, «Нет, ничего подобного» и уже не прикидывался. Я понял, что одно с другим связано. Если ты начинаешь прикидываться советским, в конечном

итоге это приводит к тому, что ты должен признать себя виновным – логика совершенно неизбежная, логика, как у Кесслера.

ФБ: Конечно, конечно, я понимаю, да.

ВБ: А раз так, то ты должен перейти на их сторону, то есть где-то там впереди ты оказываешься на их стороне, значит ты никак не можешь... Это совершенно точно логически, и поэтому вот этот маленький эпизод – а он был действительно маленький, там был один допрос всего – и я от него отделался, подписав протокол, что, мол, нет, ну что вы, я не против советской власти; это в начале 61-го года...

ФБ: Это Вы писали?

ВБ: Нет, они писали, а я подписался, мол, нет, я никаких, ничего не делаю и так далее. И они вполне с этим согласились, они же психологи (смеётся).

ФБ: А во время второго ареста, они сказали, что, мол, Вы подписали...

ВБ: Это во-первых. То, что они сказали – это, как говорится, наплевать и забыть, но они вели себя соответственно. Они уже значит, считали, что они могут тебя задавить, что раз ты сказал, *А*, ты скажешь *В*, а сказавши *В*, скажешь *С*. Вот, что они считали. И я понял, что я себе сам хуже сделал на самом деле, даже не думая об этом совершенно. Вот, что было. Ну это помимо как бы некомфортности такой позиции, которая мне некомфортна, она мне несвойственна. Это небольшой как бы эпизод, он как бы объясняет, как эта система работает, постепенно.

ФБ: Ваше понятие добра и зла, как Вы это понимали? Это было связано только с Вашими действиями в отношении системы? В личной жизни, в отношениях с друзьями эти понятия были так же строго [разделены]?

ВБ: Ну, это же ключевой вопрос. Вы поймите, если вы так определили свое отношение к системе – а это вопрос жизни и смерти – то поневоле это решение будет влиять и на ваши отношения с друзьями, и на ваш выбор друзей, прежде всего. Для вас люди, которые так не поступят, уже друзьями быть не могут, то есть у вас какое-то количество друзей отсеивается. Вот вы выросли, скажем, целый класс школе, первое же столкновение с системой, и большая часть людей от вас отсеивается, потому что вы видите, что вам с ними просто нечего делать, они не выдерживают даже малейшего испытания... Поэтому уже и выбор сам по себе друзей и, соответственно, отношений между вами, они определены. В то время присутствие политической системы было настолько сильным, что отношение к ней, твое, определяло почти всю твою жизнь. Оно определяло всё, что угодно, даже интересы в литературе, в искусстве – от этого нельзя было убежать, не важно, понимал ты это или нет, но всё равно это было неизбежно.

ФБ: Это интересно, что Вы сказали о разнице между глобальным и пограничным. Вы думаете, что для тех, кто участвовал в системе, они начинали с пограничных решений, а потом медленно двигались по направлению к глобальному?

ВБ: Да, да. Говоря точнее, разница между стратегическим и тактическим в этих условиях почти неразличима. То есть, если ты стратегически против этой власти, а для тактических и стратегических соображений прикидываешься и хочешь внутри нее работать, то ты кончишь или разрывом с этой системой неизбежным или тем, что ты откажешься от своей стратегической задачи. Не может быть другого – это несовместимые миры, они не пересекаются. Так что это для меня было важно, я понял, что тактические соображения не могут отменять стратегических, никоим образом, ни разу.

ФБ: Но Вы видели, например, людей, друзей, которые начали участвовать, а потом отказались.

ВБ: Да, много.

ФБ: Они пошли на какие-то компромиссы, но потом...

ВБ: Были и такие, были и наоборот. Я знал близко, хорошо знал нескольких людей, которые выбор стратегически сделали так же, как и я, в том же возрасте, и для них это всё было понятно, но вот это тактическое соображение игры, оно их привело к тому, что они стали стукачами в конце концов, сломались... Было и наоборот: те, кто, так сказать, выбрав стратегическое решение совсем другое, считая, что они *с* советской властью, на самом деле с ней жить долго не могли и, в общем, оттуда выскочили, из этой системы; такие тоже были (смеётся).

ФБ: Так это только те, кто сделал тактические решения, в конце концов сломались, а те, кто стратегически или за, или против...

ВБ: Да, могут перейти... Да, это было... Ну вот у нас был целый ряд коммунистов. Они, правда, были старые: Григоренко, Костерин, Писарев... Был у нас такой Сергей Петрович, старый большевик. Они были убежденные коммунисты, но они были честные люди, и это совершенно не совмещалось. Вот Писарев, который вообще еще с дореволюционным стажем был коммунист, он при советской власти 5 раз сидел, потому что (смеётся) он не признавал, так сказать, нечестности, он был последовательный, честный человек. Его сажали в 30-е годы, его там пытали, он потом всю жизнь ходил в корсете – у него был позвоночник сломан на дыбе. Уникальный был мужик по-своему, но он до конца не мог понять, что его идея социалистическая коммунистическая, она ни во что другое не может вылиться, он всё считал, что она может быть чистая. А со стороны было понятно, что нет, логически (смеётся) она не может быть. Это очень интересные были люди. Конечно, те из них, кто дожил... Вот, скажем, Григоренко, он совсем отказался от любых коммунистических идей, он стал очень религиозным человеком. Костерин умер и Писарев, так что я не знаю, к чему бы они пришли, но я думаю, что тоже из них бы это рано или поздно логически как-то выбралось. Такая была вещь. Но это были честные люди, и хотя я понимал, что идеологически мы совершенно противоположны, но тем не менее, мы могли вместе быть. Потому что я знал, что они при этом люди честные, так сказать, на черное не скажут белое, то есть уже ты с ним можешь как-то говорить или что-то делать. Вот это было важнее в тех условиях.

ФБ: Видели ли Вы людей, которые пошли более глобально на компромисс, а потом отказались?

ВБ: Дело было не в том, что они отказывались, а в том, что их система выбрасывала. Она выбрасывала, потому что, чем дальше, тем больше она, так сказать, заставляла идти по этой узкой колее. В общем, как правило, это был бессмысленный компромисс, потому что он отрицал изначальную цель, вот как я сказал. То есть тактика отрицает стратегию в результате, да? В общем, люди искусства, которые на это пошли, они, в общем, разменяли свой талант и уничтожили его этим. Хотя изначально, они считали это неизбежным компромиссом, ну, мол, что делать, иначе я не могу... Это всё равно вернулось, как бумеранг, на их головы и ни к чему не привело. Я знаю нескольких таких людей, тот же Эрик Неизвестный, который как бы был вполне себе советский архитектор и так далее, но все равно пришло время, когда это стало уже совершенно несовместимо с системой, и его выкинуло. Он уехал, я отлично это понимаю, он уехал в Америку сам, понимая, что никакого примирения быть не может, противоречие изначальное, фундаментальное.

ФБ: Фраза «Жить не по лжи», это повлияло как-то на Вас?

ВБ: Ну для нас это было поздно. Солженицын же ведь появился много позже. Мы уже в это время были сложившиеся люди. К моменту публикации первых работ Солженицына, я уже в тюрьме посидел. Я уже вышел. Так что для меня это всё было не новость. Это был новостью, может быть, для более широкого круга людей или для более молодого поколения, а для нас всё это было как бы и так понятно. Я бы так это не формулировал, потому что формулировка неясная для меня. Эти же понятия все размыты: что такое ложь, что – не ложь? Или уж ты давай исчерпывающую формулировку или не давай (смеётся). Так что для меня, это более теологическая фраза, чем я бы выразился. Так что для меня это всё уже было слишком поздно, я уже сформировался к тому времени, но я предполагаю, что для кого-то, кто был моложе, это могло иметь значение.

ФБ: Вы описывали советскую систему, как злую систему, использовали слова добро и зло?

ВБ: В общем, да. Самое интересное, что этот эту фразу, эту формулировку используют люди самые неожиданные, и тогда тоже. То есть даже те, для кого вот такие философские категории мышления не свойственны. Тем не менее, вот... Приятель мне недавно сказал – он живёт в Израиле, мы с ним сидели, когда то в лагере, он ко мне приезжал в гости, как раз сидели, вспоминали об этом времени – он сказал совершенно неожиданно, он человек нерелигиозный, глубоко нерелигиозный человек (смеётся), он сказал: “Ну, в общем-то, надо понимать, что это была система зла, и как бы другого выбора, кроме как быть против нее, не могло быть”. Вот так он это осмысляет теперь, хотя человек нерелигиозный. По-видимому, в применении к той системе иного выражения, иных терминов, кроме религиозных, не придумаешь, потому что система псевдо-религиозная, она же построена, как культ, она построена, как система религии. И поэтому её описать можно только в терминах религиозных. Не случайно, у них там святые мощи на Красной площади лежат (смеётся), это же всё, как

культ у них построено, и поэтому для её описания действительно нужны какие-то теологические термины. И понятие *зло* – система зла – оно наиболее точно её охватывает. Чтобы Вам просто проиллюстрировать это, когда президент Рейган первый раз сказал power of evil (анг.), здесь поднялся смех, интеллигенция его высмеяла. Эта фраза стала крылатой во всех коммунистических странах и до сих пор, вспоминая это систему, её называют империей зла. Причем уже без всякого юмора. Это просто наиболее точная формулировка, которую можно ей приписать. Так что, по-видимому, эта терминология там неизбежна.

ФБ: Это очень интересно.

(Конец первой части)

Часть 2

ВБ: [...] конец 50-х начало 60-х, так называемая оттепель. Сама по себе советская литература и искусство много создать не могли, все-таки цензура не давала им. Но они довольно много показали западного материала в это время. И в частности показывали очень много антифашистского материала о нацистской Германии. И для всех нас было совершенно очевидно, что это одно и то же, просто никакой разницы. Ну разница где-то там, глубоко, так сказать, техническая, но в принципе никакой. И вот, скажем, был американский фильм Нюрнбергский Процесс Judgement at Nuremberg (анг.) Стэнли Крамера. Он на нас очень сильно произвел впечатление на всех, а нам было лет 16-17, когда его показали.

ФБ: Интересно.

ВБ: Очень сильное! Я просто помню всю эту коллизию...

ФБ: Создало впечатление?

ВБ: ...да, и моральную коллизию, и решение судьи, когда он говорит: “You may be correct but to be correct is not to be right, and nothing on God’s earth can make it right” (анг.) Абсолютный отчет создается.

ФБ: Такие слова в фильме?

ВБ: Да, он кончается на этом.

ФБ: Такими словами?

ВБ: Примерно. (Оригинальная цитата “It is logical, in view of the times in which we live. But to be logical is not to be right, and nothing on God's earth could ever make it right.”)

ФБ: Я на прошлой неделе **взял интервью у одного моего студента**, который на самом деле был (inaud. 01.40). Он описал процесс его воспитания и так далее; он – религиозный человек. Мы обсуждали его визиты в КГБ, и он рассказал, что он очень боялся. Я хотел узнать почему, во всяком случае, он не принял их предложения: был

ли этот отказ попыткой слушать Бога – потому что он был религиозный человеком – или, если бы он это принял, это было бы как пойти против себя? И он сказал, что второе. Он сказал, что просто распался бы.

ВБ: Да, абсолютно.

ФБ: И это интересно, потому что, если мы можем объяснить слово *зло* в религиозных терминах, как поступок против Бога, то мы можем это объяснить и как поступок против настоящего человека.

ВБ: Конечно. Эта религиозная терминология даже более глубокая, если хотите... Это как бы вопрос души [...]

ФБ: Да.

ВБ: [...] философская категория души. Твоя душа появляется при твоём выборе – так нам говорит философия, да? Что верно. Разница наша между предметом и нами состоит в том, что предмет сам по своей воле не может ничего сделать, а мы делаем что-то по своей воле. Как только ты отказываешься от своей воли, от своего выбора, ты перестаёшь быть человеком. Но это ровно то, что хотела сделать система с каждым из нас – она хотела нас превратить предметы, то есть отнять у нас душу, наш выбор. Заметьте, те, кто Вам сейчас объясняют, почему они пошли с этой системой, повторяют всегда, не понимая, одну и ту же фразу, что у них не было выбора. Неправда, выбор всегда был. Всегда есть выбор! Я утверждаю, в любой ситуации у человека всегда есть вывод. Другое дело, что он неприятный. То есть цена, которую ты платишь за этот выбор непропорционально высокая – это другой разговор. Но выбор всегда есть, и сказавши себе однажды, что у меня нет выбора и потому я делаю так, он перестаёт быть человеком. Вот *это* ощущение, что ты уже не человек, а вещь – оно очень деструктивно, оно тебя разрушает как личность. Так что, конечно, это в терминах теологических вполне объяснимые вещи.

ФБ: Так, империя зла – это зло, которое превращает человека в камень, в материю.

ВБ: Да, она его делает предметом. Дело же не в том, что она заставляет его делать злые вещи – это само собой, это как бы один из возможных вариантов.

ФБ: Да, это результат даже.

ВБ: Результат, но один из возможных результатов. Быть может, ты и не будешь делать никакого самого по себе зла, но ты перестаешь быть человеком, ты становишься чьим-то инструментом, ты теряешь, так сказать, свой собственный контроль, ты больше не хозяин самому себе – это очень важный момент. И как только человек перестает быть хозяином самому себе, он начинает разрушаться стремительно.

ФБ: Если человеком сделано так много решений, что он стал ‘предметом’, может ли он вернуться к ‘жизни’?

ВБ: Я думаю, что не может. У них бывают попытки, у них бывают всплески – моменты, но это как спазмы, he wouldn't be able to sustain it, it would be spasmatic (анг). Вот я видел, например, как агент КГБ – стукач, informer (анг.) – пытается от этого уйти. Его компромиссы привели его уже на последнюю ступень – он уже informal KGB (анг.), но все равно человек потом пытается от этого освободиться; он пытается сбросить с себя это бремя. У нас такие случаи были, когда, скажем, наседка камерная (подсадной человек), приходит к тебе и говорит, мол я – на самом деле наседка, я не хочу больше выполнять эту роль, но я хочу чтобы ты знал, что я служил [наседкой]. Мы себя вели по отношению к таким людям очень корректно – мы говорили, что это твоё решение, твой выбор, мы тебя не толкаем ни в одну, ни в другую сторону, понимая отлично, что на него начнут давить в несколько раз сильнее, чем на нас – что было абсолютно верно. Чего КГБ не прощало совершенно – это попытки такого человека вернуться назад (смеётся), оно его давило просто в порошок.

ФБ: Да?

ВБ: Да. Этого они не прощали никогда. Мы были для них враги. Ну враг и враг – понятно: будет приказ – убьем, не будет приказа – не убьём (смеётся) – это одно. А этот был свой. Этот уже был в руках...

ФБ: Я хотел бы сказать, что я, как глубоко верующий, могу понять абсолютно всё, что Вы говорите про КГБ, сравнивая это с внутренним искушением. Никто меня ни к чему не подталкивает, но внутренние искушения происходят точно так же...

ВБ: Да, но только цена другая. Ну, например, ведь они же пытали – мы не называем это пытками, потому что мы люди скромные...

ФБ: Пытали, да. Но искушение – стать предметом присутствует всё время, во мне, и я предполагаю, в каждом человеке...

ВБ: Ну да, отказаться от свободы выбора, конечно, потому что он болезненный, ответственность – это тяжесть, это все понятно. Но не забывайте, что там были чисто физические, материальные вещи. Например, были люди, которые не выносили одиночку (одиночная камера). Ну вот он не выносит, он начинает распадаться в одиночке; у меня такой подельник был, он умер недавно. Он не выносил одиночку, у него начинались галлюцинации, он дикие муки были. Он на этом сломался.

Другого парня – это на севере было, за полярным кругом – они посадили в неотапливаемый карцер, где было где-то -6 внутри, а снаружи было -30. И вот он там замерзал. Он несколько суток замерзал, умирал, и он говорил, это *дико* больно. Я никогда не пробовал, я не знаю, как это... А он говорил, что это дико больно. Наше представление о том, как от холода умирают – ну засыпают и всё, да? А он говорил, что если бы так, то он бы так и уснул, но нет, начинаются спазмы мышц по всему телу, дикие спазмы, страшная боль, тебя разрывает просто; не выдержал. Он где-то с неделю там промучился, больше – говорит – невозможно, тебя рвёт на части.

ФБ: Патрик (*? 09.32) мне сказал, что когда-то Вы сказали, что у каждого человека есть такой момент, или, можно сказать, цена, или слабость, и что невозможно найти никого, кто был бы нерушим.

ВБ: Наверное, да. Я не знаю, сказал ли я так категорично... Может быть, я сказал не так категорично – я не могу говорить о всех людях, я не видел всех людей – это очень трудно говорить. Но в общем, в большинстве случаев, наверно так, потому что есть же варианты, которыми пользовалось КГБ, когда родственники становились заложниками. Мне трудно судить, у меня так не было, но я не могу судить того, у кого так было, и он не выдержал. Когда, скажем, дети, жизни его детей: или он сделает то, что ему говорят, или его дети погибнут, да? Нужно решиться на гибель твоих детей, понимая, что ты их, в общем, убиваешь. Замечательная фраза у Солженицына в *Бодался Теленок с Дубом*, где он говорит, что они давно уже с женой поняли, что в такой ситуации, они пожертвуют детьми. Это очень неслабое решение! Те, кто никогда не были в такой ситуации, вряд ли поймут. Другие даже осудят, скажут, что это жестокость, как так можно..? На самом деле, это, наверное, неизбежно: ты должен решить или так, или тогда не лезть. Если у тебя есть дети, ты должен знать, что рано или поздно они будут тебя шантажировать детьми, и, конечно, может дойти до вопроса жизни и смерти. Значит, если ты считаешь, что ты не можешь этого сделать, лучше не заводить детей, потому что это неизбежная ситуация, она обязательно будет. Какое количество людей этого не выдержит – сказать трудно. Правда? Это очень редкий человек, который согласится на гибель детей, да?

Вот Вам одна ситуация... Ситуаций очень много: они же были очень опытные люди, они очень хорошие были психологи, они искали ко всем ключ, и довольно умело находили. Ну я не скажу, что 100%, далеко не 100%, но, в общем, довольно успешно. Они находили у людей всякие слабости: одни тщеславны – то есть можно сыграть на этом, другие там слишком самолюбивы – значит не выдержат унижения, и так далее – они всё пробовали.

ФБ: Вы говорите, что в системе, как [и] в номенклатуре, совесть – это очень редкая вещь.

ВБ: Ну просто [иначе] не возможно, они не выдержали бы там. Ведь им нужно было через эти все сита пройти, и так или иначе, в одной или другой коллизии, их особенность проявилась бы. А как только она проявлялась, их выкидывали, их просто выкидывали. Вот, что было. Так что я не думаю, что те, кто смог сделать карьеру в номенклатуре, что у них могла быть хоть какая-то совесть, этого просто не может быть.

ФБ: Вы не видите, например, среди окружения Горбачева: Шахназаров, Яковлев, Аганбегян, людей с совестью?

ВБ: Нет, они были хитрецы. Горбачевская – это была очень подлая публика. Это люди, которые пошли на огромный обман. Они были неглупые – это другой разговор – не надо путать людей, скажем, типа Брежнева, у которого две извилины в голове и вот этих. Дело же не в совести, а в интеллекте – они были умнее брежневцев – это

правильно, но это не значит, что у них была совесть. Они затеяли грандиозный обман, который, в общем, был успешен долгие годы, до [некоторого времени]. Они прикинулись демократами, они прикинулись либералами... Они не были либералами. Я могу показать бумаги, можно рот открыть, какие либералы (смеётся). Они были очень циничные люди, они были, действительно, продукт вот этой системы, её сливки, её элита, которые были неглупые и очень циничные, и они делали это очень цинично и успешно, до определённого предела. Просто потом степень сложности задуманного оказалась слишком великой, too complicated, too clever for their own good (анг.). Система не могла выдержать такой степени сложности, она начала трескаться. А так, в принципе, замысел был такой очень советский, очень коммунистический. Это была умная коммунистическая кампания дезинформации, рассчитанная на то, чтобы разоружить Запад, обеспечить себе помощь массированную Запада и кое-как, подправив систему, вылезти. Так что это был замысел совершенно дьявольский. Другое дело, что он не удался, это другой разговор (смеётся), это не их вина, просто система уже износилась. Сделай они это на 20 лет раньше, я не знаю, что было бы. Но тогда им ума не хватило, а потом было уже поздно, система уже не выдерживала. (Пауза)

Ну да, конечно, были разные люди. Вот, посмотрите на того же Ельцина, в нем пробудилась совесть, но она его убила, в результате он спился, он как бы распался как человек. Но в нем пробудилась совесть. Совесть в нем пробудилась, когда его самого выкинули. Это очень интересно, Вы не читали его книжку *Against the Grain* (анг.)?

ФБ: Немного читал.

ВБ: Там очень интересные страницы про его кризис, когда его выкинули из Политбюро, и как он в больнице лежит с сердечным приступом на грани смерти, и он всю жизнь свою перебирает – хорошо описывает. Это был действительно его как бы rebirth (анг.) – это правильно, в нём победил человек в результате, а не партийный чиновник. Но этот кризис оказался для него слишком велик, и он его доломал в конце концов как личность совсем, мы видим теперь, он не вынес этого кризиса. Тогда в нём человек победил, но это ненадолго, он распался просто.

ФБ: Возвращаясь немного назад, ко *злу*, думаете ли Вы, что богословское описание зла, о котором мы говорили, и вот это более гуманистическое описание очень далеки друг от друга?

ВБ: Нет, они не очень далеки. Богословское описание [...]

ФБ: Потому что, в одном смысле 2 понятия совести реализуются в 2 линии: солженицынская линия и сахаровская линия...

ВБ: Там нет большой разницы.

ФБ: Да, но я об этом хочу сказать.

ВБ: Символика разная. И, так сказать, категории символики будут разные: религиозная категория имеет Бога, дьявола, зло, добро, там свои коллизии, и так далее;

нерелигиозная символика – другая, но суть примерно та же, она просто как бы менее категорична. Религиозная символика более категорична, только и всего. Но зато, она втягивает массу символов, к которым у меня, например, отношения нет, я не знаю, что про них сказать. (Пауза) А разницы существенной нет[...]

ФБ: Это довольно интересно, потому что можно сказать, что гуманизм вот этой другой, небогословской линии, это гуманизм на основе абсолютных ценностей, во всяком случае.

ВБ: Да, да.

ФБ: Хотя это больше кантианская система, чем христианская, но во всяком случае, обе основаны на абсолютных [ценностях].

ВБ: Ну вот в этом этого причина нынешнего кризиса. Сейчас мы живем в период кризиса либерализма, либеральных, так сказать, ценностей.

ФБ: В мире?

ВБ: Да, вообще, во всём мире. Почему? Потому что они приняли релятивность этих ценностей. Знаете, если где-то в середине века ещё, скажем, Вторая Мировая Война и после, они были абсолютистами, они верили всё-таки в абсолютные ценности. Как только они пошли в релятивность, вся система стала рушиться, и то, что мы сейчас имеем, весь этот маразм, который мы сейчас имеем в мире, он связан с их отказом от абсолютности, от принятия релятивности моральных ценностей. Как только ты принял релятивность, всё, ценностей не остаётся, они все исчезают. Так что это верно. Но много других вещей, Вы поймите, этика христианская, она в основе нашей цивилизации, с ней как бы невозможно спорить, она заложена в не только в самой религии, но и в том же либерализме; она всё равно христианская этика. Я, например, не будучи религиозным человеком, отлично понимал, что, скажем, мы приносим себя в жертву, в известном смысле, да? То есть в этом есть некая модель христианская – то есть мы искупаем чужой грех. Вот тем, что мы, так сказать, идём на эту крайнюю жертву, мы искупаем грех тех, кто на эту жертву не идёт. И это почти математически точно, потому что, если бы эти люди не шли на конформизм, и нам не пришлось бы платить такую высокую цену (смеётся). Правильно? То есть это почти арифметически подсчитываемая вещь, это правильно, это действительно так.

ФБ: И Вы так думали в то время?

ВБ: Да, такие мысли появлялись; у нас у всех они появлялись. Хотя, я никогда не был религиозным и не стал религиозным человеком, но тем не менее это категории общечеловеческие; наша цивилизация все-таки построена на христианской этике, она никуда не девается. Видимо, для нас, для нашей культуры эти этические построения наиболее близки. Даже более естественны, скажем так. Я не знаю, скажем, у мусульман своя этика, допустим, я про них ничего не знаю. Для нашей цивилизации, этот комплекс ближе.

ФБ: Есть в христианстве момент, what is it… The redemption. What's in Russian, redemption?

ВБ: Искупление.

ФБ: Искупление.

ВБ: Вот это то, о чем я говорю.

ФБ: Да, да.

ВБ: Но это как бы всё в меньшей модели. То есть основная модель Христа, она большая, всё остальное – как бы меньше модели, но схема сходная. То есть ты можешь искупить чужой грех, вот это на самом деле правильно, ты можешь. И более того, ты его искупаешь, чем больше их грех, неизбежно, то есть вплоть как бы до уравнения. И вот то, чего не произошло сейчас в России, например, да? Почему? Потому что наша жертва, она как бы не была принята. Заметьте, что произошло сейчас: мы оказались совершенно вне контекста того, что происходит. Так что страна не раскаялась, она не приняла нашей жертвы этим самым, и она не стала строить, they did not build on what we've (sic) left (анг.) А это был единственный способ выздороветь. Раз они его не приняли, у них нет способа выздороветь, я не верю в то, что они могут выздороветь.

ФБ: Как интересно, да. Мы даже обсуждали это в классе, что после Второй Мировой Войны, немцы чуть-чуть раскаялись.

ВБ: Нет, они сильно раскаялись, у них были все-таки люди, которые пожертвовали собой: Штауффенберг и прочие, и это им позволило построить новое. А здесь они этого не приняли, да?

ФБ: Да. Как это возможно сделать?

ВБ: Это можно *было* сделать. Я не думаю, что это сейчас возможно. Я думаю, что поздно. Момент был, когда это можно было сделать. Я поехал тогда в Москву, я им предлагал, я им сразу сказал открыть архивы. Давайте сделаем большой, но если не нюрнбергский суд, то просто международный какой-то трибунал над системой, нам не обязательно кого-то в тюрьму сажать, можно сделать просто суд над системой, как таковой. И, в общем, почти всех уговорил, ельцинское руководство, кроме самого Ельцина; Ельцин не решился.

ФБ: Вы разговаривали с ним об этом?

ВБ: Я говорил с его помощниками ближайшими, и они согласились. Они к нему пошли и вернулись очень подавленные, грустные. Я говорю, что? Ну и всё...

И вот после этого всё как бы пошло вниз сразу. Потому что это был сентябрь 91-го года, всё можно было сделать. Я приехал, стал им объяснять вот эту схему, как это все сделать, да? И тогда это было реально, всё было реально. Но он не решился.

ФБ: Как интересно, это просто изумительно интересно...

(Запись прервана)

ФБ: Вы думаете, что вообще народ может каяться?

ВБ: Конечно.

ФБ: Коллектив может каяться в этом смысле?

ВБ: Каяться можно и в одиночку, и коллективно, но в общем-то, на самом деле, настоящее раскаяние всегда индивидуально, оно не может быть коллективным, да?

ФБ: Да.

ВБ: То есть так может случиться, что много народу одновременно – это другой разговор, но раскаяние, так же как и ответственность, – оно личное. С осознания своей личной ответственности и начинается раскаяние. Вот у них этого не произошло, а раз не произошло, значит, у них нету попытки выздороветь, понимаете? Поскольку они не понимают, насколько они виноваты, они не ищут выхода. Они считают, что кто-то еще виноват и ждут, что им помогут. Вот, что получается. Когда человек осознал, что он виноват, что он внёс в эту вот беду свою лепту, он, соответственно, начинает её исправлять. У него появляется хотя бы стимул, энергия исправить. А если этого нет, то он сидит и ждёт. Как сейчас в России. Вот они сидят: иностранцы им устроили это, евреи, ЦРУ... Ну знаете эти все рассуждения, да? И поэтому они сами ничего не делают, они считают, что им должны прийти и помочь. То есть это мертвая совершенно ситуация. И пока у них не произойдет этого импульса, переосознания своей вины, осознания её, а соответственно, импульса на выздоровление, на исправление, ничего не будет. Будет гнить страна, будет разрушаться.

ФБ: Я должен сказать, что я немного далёк от Вашей позиции, что такие взгляды определяются структурой мозга, а не страстью к этим вещам, Вы понимаете? (*? 26.37)

ВБ: Нет, не понял, о чём идёт речь?

ФБ: Если вера, все эти вещи, нужда в раскаянии, принятие вины, возрождение...

ВБ: Ну это свойство человека. Таково человеческое свойство. Человек не выздоравливает, не поняв, так сказать, причины болезни. Это всё персонализация. Пока ты не персонализировал этой вещи, ты не ищешь и личного выхода, это же связанные одно с другим вещам. (Пауза)

Это по-моему свойство человеческой природы, нежели чего ещё, я не вижу нужды в каких-либо теологических объяснениях для себя, потому что объяснения вполне укладываются в существующие понятия *без* этого. И до тех пор, пока нет нужды привлекать потусторонние силы, всегда желательнее и предпочтительнее объяснить тем, что есть, правда? Это этим и объясняется – нет нужды нам пока вводить сюда какие-то ещё факторы. (Пауза)

ФБ: (inaud. 27.54)

ВБ: Но то, что есть структуры, нервные структуры, ткани, отвечающие за такое явление, как совесть, – это точно. Эксперименты на животных дают такие модели. Эксперименты, когда животное не может поесть, не приведя в действие систему наказания для другого животного одновременно. Была такая целая серия экспериментов. И очень интересно. Они построили клетку. Клетка была разделена стеклянной перегородкой. В одной клетке кормушка была, и при нажатии кормушки, чтобы появилась еда, включался ток. Ток этот подавался на пол второй части клетки. И вот сажали крысу; тысячи крыс проходили через оба эксперимента. И каждый раз крыса в отсеке [с едой] видела, что как только она нажимает на кормушку, за стеклом в соседней клетке, её подружка наказывается током, визжит, прыгает – ей больно. То есть очевидная связь между кормлением в одной камере и наказанием в другой, да? И вот так они пропустили тысячи крыс. Потом посмотрели статистику. У них оказалось где-то очень небольшой, менее 20% крыс, которые отказываются есть, вплоть до голодания отказываются есть, потому что это приводит к страданиям соседа. Самый большой процент тех, которые *нормально* не будут обращать на это внимание, но если они предварительно побывали в камере наказания и сами прошли через это наказание, тогда они тоже отказываются есть, или будут склонны к этому. И всегда есть устойчивые где-то процентов 30 таких, которые будут продолжать жрать вне зависимости от своего опыта.

ФБ: Исходя из этого, совесть это результат имитации?

ВБ: Нет, есть же около 20% таких, которые с самого начала этого не будут делать. Значит, есть некая система, которая может иметь разный порог срабатывания у разных особей. У одних она наиболее чувствительна, в других – менее, менее, менее, и есть совсем нечувствительные. Значит, можно её синтезировать – synthesise (анг.). Если ты провел через предварительный опыт с этой стороны, то этот, так сказать, порог срабатывания становится более низким, да? Более того, они ведь экспериментально стали выяснять, что за система за это отвечает. Они выделили систему так называемых мускариновых рецепторов в мозгу, и если её чувствительность повысить определенными реактивами, агентами, то процент смещается. То есть, по-видимому, есть некий перенос образа, то есть, грубо говоря, вот это ощущение, вот эта формула «не делай другому того, чего не хочешь себе», она, видимо, существует и в животном мире, в каком-то варианте, может быть не настолько сформулированном, но вот... Вот это изначальное понятие совести. Уж если так говорить, оно примитивное, да? (Долгая пауза)

ФБ: Да...

(Запись прервана)

ВБ: [...] здешние люди, которые не прошли через [этот] опыт, только какой-то процент воспринимал, что происходит, а большинство не воспринимало. То есть это как бы повышает чувствительность к этим вещам.

ФБ: Я думаю, что те выборы, которые сделали Вы, Ваши коллеги и друзья, они очень похожи на выборы всех людей на Западе.

ВБ: Ну схема-то одна, схема всегда одна. Другое дело, что разные стоимости.

ФБ: Да..

ВБ: Схема всегда одна. Выбор. Всегда есть выбор. Всегда есть выбор и, связанная с ним, ответственность. Выбор и ответственность – вещи неприятные. Человек пытается из них выскочить (смеётся). Да, конечно, эта схема старая.

ФБ: [Вы думаете,] это будет сложно – писать об этом?

ВБ: Будет сложно писать, и материал тоже сложно собирать, потому что большинство людей будут врать.

ФБ: Да или так, или не будут знать, врут или нет.

ВБ: Да. То есть они сами уже не могут отличить, когда они врут, когда – нет, это правда. И поэтому с ними разговаривать будет очень трудно. Такой разговор возможен только в некоторой степени конфронтации, когда вы заставляете его как бы искать выходы.

ФБ: Проблема в том, что иногда люди говорят то, что они думают, ты хочешь услышать [...]

ВБ: Это тоже правильно.

ФБ: [...] так они могут быть более честными. Это будет больше похоже на исповедь, чем (inaud. 33.34). Или наоборот?

ВБ: Да, например, сейчас уже многие говорят, что они сожалеют о прошлом – враньё. Не сожалеют. Но так вот кажется им более комфортным сказать. А на самом деле никакого переживания – я вижу это – у них нет.

ФБ: Да, во всяком случае, я действительно думаю, что в этой области есть ключ к пониманию очень важной части советской системы, и часто ученые просто не хотят [сталкиваться] с этой проблемой.

ВБ: Что Вы, это вне их предела! Они наоборот от неё всячески отказываются, от этой темы. Почитайте любых специалистов по истории и прочее: это для них просто анафема, это нельзя трогать, это не наука, это не научный подход.

ФБ: Ну, во всяком случае, это наука, это должно быть включено.

ВБ: Это очень важный её аспект, конечно. Хотя бы потому важный, что из-за этого рухнула система.

ФБ: Да, точно да.

ВБ: Не приняв во внимание этого фактора, никогда не поймёшь, почему система рухнула. Почему вообще весь эксперимент марксизма не удался.

ФБ: Да?

ВБ: Как это иначе объяснить? Весь марксизм, как и все эти утопические идеи социализма, они все построены на этой идее о том, что человек human being is malleable, circumstances can shape him up (анг.) И на этом построен весь марксизм. Маркс считал, что как только средства производства будут обобществлены, collectivised, nationalised (анг.), то будет совершенно другое сознание, произойдет поворот (смеётся) сознания у рабочих. Он же пишет прямо, что от этого должна подняться производительность, потому что он будет работать не на хозяина, он будет работать на коллектив, на всех. Это ощущение – это более высшее сознание. Обстоятельства должны изменить сознание, бытие определяет сознание. Вот, формула, да? А произошло ровно наоборот: как только они обобщили (смеётся) свои средства производства, люди перестали работать. В конечном итоге, по большому счёту, советская система экономически рухнула из-за своей низкой производительности, из-за того, что она была экстенсивной, а не интенсивной. А это произошло потому, что марксистская формула о бытие и сознании оказалась неверной. Значит, бытие *не* определяет сознание. Изначально мы опять возвращаемся к той же теме – это одна причина. Вторая причина – в этом вранье: люди врали, врали, жили во лжи, да? Ложь усложнилась до такого порядка при Горбачёве, что она уже не могла, так сказать... it was not self-contained anymore, it burst (анг.) (смеётся). Как гнойник, нарыв, он нарывал, нарывал, нарывал и лопнул, и гной растёкся. И вот то, что мы сейчас имеем в России, это такой лопнувший нарыв, и гной растёкся, это нездоровое всё. Вот тоже почему? Потому что бесконечное это вранье, оно не может быть продуктивным, оно не может ничего из себя строить, оно только может всё больше и больше нагнетать этого гноя, и рано или поздно оно лопнет.

Элита. Вот, скажем, для меня большой вопрос, почему они так легко развалились? Вот моя ошибка всегда была в том, что я думал, что во-первых, система лопнет где-нибудь к концу века, то есть где-то лет на 10 я ошибся; и что она лопнет гораздо более violently (анг.), то есть что они будут сопротивляться. Я оказался неправ. Не только на 10 лет, но и по модели распада – они не сопротивлялись. Значит, что произошло: элита потеряла волю к власти.

ФБ: Я думаю что их совесть скрыто сказала им, что они – зло. Может быть, Вы так не думаете? (смеётся)

ВБ: Я думаю, что было сложнее. Они просто перестали друг другу верить. Поскольку всё было построено на лжи. Лгать хорошо на собрании. А когда твоя жизнь зависит от этого, то ты не очень хочешь лгать, потому что тут исход очень материальный – или ты жив, или ты умер. Да это очень.... (смеётся) Это как плюс или минус, тут других вариантов нет. И поэтому пока вся ложь шла, всё было замечательно. А когда они решили ввести этот путь – военное положение, то большинство людей не пошло в это,

потому что они не хотели на этом погибнуть. Все прекрасно понимали, что это ложь, от начала и до конца – всё большая ложь. Одно дело об этом говорить, другое дело – пойти подставить свой лоб под это, да? Тебя же убьют и на тебя же всё спишут. Они же – командиры военных частей – поняли, что их подставляют, что они сделают, а их же потом за это расстреляют. Они это отлично поняли, и поэтому они сказали «нет». Принесите нам письменный приказ (смеётся) от Горбачева, тогда мы сделаем. Вот же, что было. То есть тот самый случай усложнения лжи, которая уже больше не работает.

Ну и конечно, они потеряли легитимность, а это произошло в силу уже, так сказать, духовного растления их элит. То есть элита, коммунистическая элита к этому моменту уже совсем не верила в себя. Она не верила не только в свою правоту, но и […]

ФБ: Да, да.

ВБ: Вот. А это уже фактор опять связанный с тем, о чем мы говорим. По крайней мере, если убрать этот фактор, о котором мы говорим – духовный фактор – то тогда совершенно непонятно, почему они так легко лопнули.

ФБ: Да, да.

ВБ: Понять почему они *вообще* лопнули – можно, они износились.

ФБ: Да, да.

ВБ: А вот почему так легко – не поймёшь.

ФБ: В этом смысле, в конце концов, это значит, что они или верили голосам диссидентов внутри страны, или голосу Запада.

ВБ: Запада, да. На самом деле уже не верили в это (inaud. 40.21). А это разложение элиты – вот эта двойственность, двуличность, она как бы дошла до своего логического конца. А так, схема, если выкинуть этот [фактор], то схема должна была продолжаться непрерывно. Ещё бы лет 10 они прожили, то есть наступило бы полное истощение ресурсов экономических, и тогда был бы взрыв. Был бы взрыв, скорее всего, очень такой, кровавый. Система бы рухнула всё равно, потому что она уже себя, так сказать, истощила, но она бы кончилась очень, очень насильственно. И, конечно, они это понимали, поэтому Горбачёв и стал играть в эти игры реформаторские чтобы как-то избежать этого взрыва; у него такая мысль была наверняка. (Долгая пауза)

Но он сам говорит, конечно, не так, Горбачев. Он очень лживый человек, он и сейчас всё время лжет. Я видел его […]

ФБ: Но может быть он тоже не знает, что он лжёт. Он привык уже наверное?

ВБ: Ну, наверное, да. Он и Яковлев говорят, что в какой-то момент мы поняли, что система нереформируема.

ФБ: Это он сказал?

ВБ: Да. «В какой-то момент мы поняли...» We understood that the system was unreformable (анг.).

ФБ: Когда он это сказал?

ВБ: Где-то с год назад. Это всё может быть и так, они действительно, может быть, думали, что они как-то смогут её подкрутить, но потом поняли, что вряд ли – не выходит. Но все остальное они врут – они на самом деле никогда сознательно в сторону демократии не пошли. Всё остальное было уже как бы импровизация, они пытались это на ходу как-то сделать, и лопнуло. Сознательно они, конечно, никогда этого... – это видно было просто по всему их поведению. Но опять же спрашивать их бесполезно, ну если Вы к нему придёте с интервью, ну он будет врать, а что ему сделается..?

ФБ: Я знаю, но, во всяком случае, было бы интересно попробовать.

ВБ: Но он теперь говорит всё то, что от него хотят услышать, Горбачев.

ФБ: Да, но то, что он готов сказать, может указывать на совесть в какой-то степени?

ВБ: Он ни в чем не раскаивается.

ФБ: Нет, я знаю, но проблема в том, что человек, который стал предметом, он слеп, совсем слеп, а я думаю, что ум таких людей указывает на то, что они не совсем слепы.

ВБ: Но они не признаются, что они были не правы.

ФБ: Нет?

ВБ: До сих пор нет. Они врут. Год назад, Кинг (*? Larry? 43.51) интервьюировал Горбачева для своей программы. Вы не видели?

ФБ: Нет.

ВБ: Очень смешно. Ну Горбачев говорит все, что хочет Кинг. Кинг говорит ему: “Вы стали социал-демократом теперь?” – “Да, я стал социал-демократом” (смеётся). Ну спросили бы у него, стал ли он анархистом, он бы сказал, что стал (смеётся).

Нет. Это люди, от которых правды не услышишь. Они не привыкли себя анализировать, они не привыкли самих себя спрашивать, свои собственные мотивы как-то ставить под сомнение.

ФБ: Хорошо, я думаю, что закончим с этой темой, с Горбачевым...

(Запись прервана)

ВБ: [...] Он – машина, совершенно. “Партия должна была сделать...” – он все, как на съезде говорит, всё ищет ошибку: “Где мы ошиблись, партия должна была... ” Нет. От этих людей ничего не дождёшься.

ФБ: Может быть здесь только с религиозной точки зрения можно подойти, может только толчок от Бога может как-то разбудить такого человека, раз в нормальном состоянии это невозможно?

ВБ: Чёрт их знает... Люди меняются. Люди меняются сами, только очень медленно. Но вот я говорю, наши друзья типа Григоренко и прочих, они же ведь были ленинцы-марксисты, когда мы начинали, и мы всё время с ними спорили, ну так по-дружески спорили... У того же Григоренко это заняло чуть ли не 40 лет, прежде чем он понял, что весь марксизм этот оттуда же (смеётся) и так далее, и от всего этого очистился. Очень медленно, страшно медленно. Хотя при этом сам он ничего плохого не делал, он как бы себя вел честно. То есть это не было моментом сопротивления, защитного, так сказать, механизма. Нет, просто это очень медленный процесс (смеётся). Так что не знаю... Я не верю, что это можно быстро от кого-то получить...

ФБ: Во всяком случае, те интервью, которые я сделал, по-моему, были чрезвычайно [интересными]. Я взял, например, **интервью у бывшего представителя ТАССа**, который работал некоторое время с КГБ, хотя он не был функционером, а просто как соглашался давать информацию. И он описал, как они взяли его и сказали, мол, мы хотим, чтобы вы это делали.

ВБ: Ну да.

ФБ: И он сказал, что будет *это* делать, но *не это,* и так далее. Я должен сказать, что я держался довольно строгой позиции, мол, как Вы объяснили себе, что Вы можете поддерживать такую систему и так далее... И я чувствовал себя немного неловко, потому что я...

ВБ: Ну да, со стороны.

ФБ: Да, это довольно трудно. Но в конце интервью я […]

(Конец второй части)

Часть 3

ФБ: [...] интервью, они в каком-то смысле очень личные, интимные.

ВБ: Ну да.

ФБ: И как использовать такой материал? Чтобы это не было похоже на западный анализ ‘бедных людей’ [с точки зрения] превосходства западного человека, который

думает, что он может судить. Как это использовать, чтобы во-первых от этого была польза, а во-вторых чтобы это было скромно?

ВБ: Ну я не знаю, это очень трудно сказать для всех одинаково. Использовать – это вообще зависит от того, для чего Вы это делаете: Вы хотите сделать из этого книгу – это один разговор. Не знаю... Трудно, действительно, именно в силу того, что со стороны. *Мне* легче задавать им такие вопросы [...]

ФБ: Да.

ВБ: […] но им труднее мне отвечать. *Вам* они легче ответят, потому что *мне* им отвечать труднее. Так что здесь есть элемент облегчения. Но зато Вам они будут больше врать (смеётся), мне они не осмелятся врать, потому что я знаю, где ложь. Так что Вам придётся больше задавать вопросов (оба смеются).

Знаете, правда состоит в том, по-моему, что для большинства из них ситуация сместилась. Если наши родители где-то ещё могли во что-то верить, хоть как-то, и этой верой оправдывать – хотя это как бы звучит ужасно, но, в конечном [итоге] торжеством оправдывать эти жертвы и преступления, то у нынешнего поколения уже этого не может быть – они никто ни во что не верили изначально. В коммунистическую догму из них никто уже не верил с 60-х годов совершенно, этого не может быть. Верили они, по-моему в то, что на их век хватит этой системы. Они верили, что они доживут свой век при этой системе, поэтому, так сказать, им отвечать не придется на эти вопросы. Вот, во что они верили. А она кончилась раньше, чем они думали – вот, в чём их трагедия. Хотя большинство из них говорят: «Нет, мы верили» – враньё, никто из них не верил, это просто доказуемый факт, не было таких людей, которые бы в это верили из их поколения. Вот. Но их надо же прижать, чтобы они это сказали; они, конечно, будут изворачиваться. Вот Горбачев, я думаю, никогда не верил ни в какой коммунизм, вот расстреляй меня... Так же, как и Яковлев.

ФБ: Но это другое дело – верить, чем принять.

ВБ: Конечно, другое, конечно.

ФБ: Если у вас нет другого опыта, то трудно верить. Даже если у вас есть только один опыт, в это трудно верить; верить, а не только принять.

ВБ: Нет, ну есть понятие веры, а есть понятие самооправдания, это все-таки очень разные вещи. Одно дело, когда человек верит в то, что окончательное торжество рая на земле возможно, и поэтому жертвы оправданы. Можно с ним спорить об аморальности такого подхода – это другой разговор, но у него есть хотя бы тот элемент, что он верил в достижимость, да? Поколение, которое уже было в 60-70-е, 80-е тем более, годы, оно не верило в достижимость этой вещи, оно над этим смеялось. Понимаете? Значит, *оправдания* уже нету преступлениям. Нет, это всё враньё. Вот когда они начинают говорить: «Ну мы думали, что можно исправить...» Нет, знали уже все, что ничего исправить нельзя, что эта система обречённая. Вопрос был, только в том, сколько она продлится. Большинство из них считало, что она продлится дольше, а,

стало быть, им на эти вопросы отвечать не придется. Вот, во что они верили, больше ни во что. Но, конечно, признаться в этом им будет трудно, потому что это очень циничная вещь – ты сознательно участвовал во зле, зная, что это зло и зная, что никакого оправдания этому нет, кроме собственного комфорта. У Сталина было хотя бы то оправдание, что он верил в торжество социализма на земле. Поэтому так легко и мог расстреливать миллионы людей – всё равно это всё оправдано в конце, да? А *эти* уже знали, что ничего не оправдано, то есть у них уже было чисто сознательное как бы участие. (Долгая пауза) А это разные вещи, в смысле оправданности, очень разные. Скажем мне труднее винить каких-нибудь там идеалистов, даже очень жестоких, там 20-30х годов, это как разница между crime of passion and cold-blooded murder. Crime of passion is a crime, but it has mitigating circumstances (анг.) (смеётся), а эти были cold-blooded murderers.

Калугин написал книжку, Вы не читали?

ФБ: Нет.

ВБ: Почитайте этих гбшников (гбшник – работник органов Государственной Безопасности ГБ). Сейчас вышло несколько книг, прочтите, это интересно.

ФБ: Хорошие книги?

ВБ: Они не хорошие, но там очень много видно. Калугин написал книгу... Он не понимает, что он пишет, насколько он омерзителен этой книге, он не понимает. Он искренне думает, что это все забавно и так далее. Это не забавно совсем (смеётся). Но вот эта психология, это уже видно, что этот человек ни во что не верит, он был вполне сознательным убийцей из корыстных целей. Но все его рассуждения, весь комплекс его оправданий Вы увидите.

А до него вышла книга генерала Судоплатова – главного сталинского убийцы. Вот тот верил в эти дела, явно был мотивированный убийца. Под конец, наверное, тоже уже перестал, но когда он делал, он явно в это верил. Он тоже очень интересно эту систему объясняет, как это всё происходило.

ФБ: Какие следы русских или западных мыслителей, которые писали об этой теме специфично или в общих терминах, были самые близкие Вам, например, (inaud. 07.48) может быть или Кесслер или Солженицын?

ВБ: Ну все, кто пишет об этом времени, этой темы касаются, потому что ее нельзя не касаться – она неизбежная тема – кто бы ни писал, она обязательно... Она и у Надежды Мандельштам проскакивает, и у Евгении Гинзбург – хочешь, не хочешь – потому что это был основной вопрос. Кто ее лучше всех выразил – трудно сказать. Я не берусь. Каждый по-своему её пытается объяснить. Даже в мемуарах... Вот читаешь мемуары того периода, и у всех эти мысли есть, они никуда не делись – это неизбежно. Кто лучше – я не берусь сказать. Кто специально на эту тему писал... По-моему, никто специально на эту тему не писал. Она присутствует, но не так, чтобы специально... Солженицын её, конечно, касается тоже, несколько раз. Многие касаются, но

специально, я не думаю, чтобы кто-то это говорил. Это, видимо, ещё предстоит. Видимо, нужно ещё чтобы какое-то время прошло. (inaud. 09.08) А сейчас там все пошло назад, и об этом даже никто и не задумывается (смеётся). Это теперь новое поколение только может [сделать]. Нынешнее поколение уже на себя не берет этот труд. Только следующее уже может. Сейчас их совсем в другую сторону понесло.

Знаете, где еще этот комплекс мыслей есть – в антифашистской литературе. Очень много.

ФБ: Да, да.

ВБ: Потому что сходная коллизия. У них много этого.

ФБ: Причина моего интереса – мне, как историку, конечно, это интересно – но у меня впечатление, что Ваш опыт и опыт Вашего поколения – это интересно в философском/теософском (*? 10.09) плане. Это не просто как диссидентское движение, это действительно [...]

ВБ: Я тоже думал, что это интересно, но никто не интересуется.

ФБ: Ну вот это причина моего интереса, и я думаю, что надо показать, как глубоко думало Ваше поколение. Например, я взял **интервью у моего студента** – еврея, о страхе. Я сам недавно прочитал довольно иезуитскую литературу о поиске воли Бога. Это интересно, потому что [...]

ВБ: Какого периода?

ФБ: Современного. Хотя у меня есть *Духовные Опыты* (inaud. 11.07). Но весь метод заключается в умении разделить между моментом страха и моментом внутреннего мира человека. Они заключают, что когда вы хотите слушать Бога, когда глобальное решение принято, тогда момент внутреннего мира – это момент голоса Бога. Просто. А момент страха – это наоборот. Но метод анализа, Вы видите, немного схож с опытом моего друга. Может быть, мой друг не слышит Бога, но метод очень похож. Я думаю, что может быть заключение Вашего поколения, общее заключение, добавит что-то в поток европейской мысли по этой [теме].

ВБ: Мы все на это надеялись. Дело же в том, что в этом весь был смысл – мы все надеялись, что мы выйдем из этого лучше.

ФБ: Да.

ВБ: Мы не вышли лучше. Смотрите, что делается с миром, он стал хуже, а не лучше. Понимаете? В смысле моральном, он стал хуже. Мы думали, что, в общем, как бы выводом всего этого должна быть, если хотите, некая 11-я заповедь, в смысле личной ответственности, да? Вот заповедь о том, что ты всегда несешь лично ответственность, что выбор всегда есть и ты всегда несёшь за него ответственность. Вот если бы это стало общим сознанием, то тогда оказался бы хоть какой-то смысл во всех жертвах, там понесённых. Это все-таки где-то порядка 100 миллионов людей, если учесть Китай

и прочие, Камбоджа... Где-то миллионов 100 человек было убито – это огромная жертва. И тогда, по крайней мере, был бы результат этой жертвы, какое-то новое качество в человеческом сознании – понимание всеобщее своей ответственности. Этого не произошло. Произошло обратное, посмотрите, что делается с миром – полная безответственность. Это было бы как бы нашим вкладом в цивилизацию. Но этого не вышло.

ФБ: Ну может быть...

ВБ: Да... Приятель мой Михаил Шемякин сделал в Санкт-Петербурге памятник жертвам репрессий. (Пауза)

Вот, он поставил 2 сфинкса и такую решетку (показывает изображение). Это в Санкт Петербурге напротив тюрьмы «Кресты». Что он сделал: он взял всякие высказывания разных людей и в табличках, в бронзе, их вставил. И вот он даёт список этих высказываний. Вот, любопытно, что он у кого взял.

ФБ: Да, да, да. (Долгая пауза. Смеётся) Это чудесно.

ВБ: Он как бы у всех по кусочку взял. (Пауза) Ну реквием Ахматовой – это понятно как бы...

ФБ: Я знаю почти всё это. Это интересно.

ВБ: Я Вам могу дать копию, у меня ещё есть несколько, он мне прислал несколько.

ФБ: Спасибо. Потому что все эти цитаты, конечно, связаны с темой.

ВБ: Да, и вот памятник он сделал: сделал из бронзы таблички с этими цитатами и вставил их в разных местах.

ФБ: В конце концов, можно сказать, что самые сильные русские мысли этого века, все связаны с этой темой.

ВБ: Да, конечно. Конечно. (Пауза) Ну он такой своеобразный художник, в нем очень много метафизики. При том, что у него и модернизм и прочее, но при этом у него очень много метафизики, причем религиозной. В общем, он такой своеобразный художник – Шемякин. Не всем нравится этот его памятник: говорят, ну зачем он поставил сфинксы, это как бы не русский символ... Но сфинкс – это вопрос жизни и смерти, это загадка жизни и смерти, поэтому он их сюда поставил. Мне понятно, почему он это сделал. Что значит не русский символ? Он символ международным, мировой символ. Но тут же у него и крест – он сделал решетку как крест. То есть он символику всю подобрал верно. Я не думаю, что в этом ошибка.

(Долгая пауза)

Не знаю. В общем, мне кажется, что это наследие гораздо богаче, чем то, что нынешние поколения воспринимают.

ФБ: Да, я со всем согласен. Я смотрел, например, статью Михайлова, который у (inaud. 18.24) в его сборнике. Это чудесное дело.

ВБ: Да. (Пауза) Трудно сказать […]

ФБ: Но я думаю, что вообще может быть наследие будет самое богатое, когда все вместе будет взято. Есть писатели, которые будут [известны в мире] через века, особенно Солженицын может быть...

ВБ: Он будет скорее восприниматься как историк, чем как писатель.

ФБ: Да, как историк. Но опыты Вашего поколения, взятые вместе, по-моему это может быть – ну это зависит от амбициозности книги (смеётся) – но, по-моему, можно даже сделать маленькую философия истории из этого – это не только опыт одного поколения, но взгляд на [ход] истории.

ВБ: Конечно. Нет, она очень важна, так сказать, для основ цивилизации, мне кажется. Потому что цивилизация наша как бы была под вопросом в эти годы, в эти несколько десятилетий – не до конца было понятно, выживет она или нет. Поэтому такая коллизия. Коллизия была очень фундаментальная. Я не думаю, что в следующем веке будет такая фундаментальная коллизия. Я думаю, что она будет гораздо менее глубокой, потому что, в общем, вопрос разрешился. Философски он разрешился в нашу пользу – не реально, а философски. Так что уже такой глубокой коллизии быть не может.

ФБ: Да, может быть.

ВБ: Самые основы нашей цивилизации уже не будут под вопросом, я не думаю.

ФБ: Но я думаю, что вопрос следующего века будет вопрос о природе self.

ВБ: Ну да.

ФБ: Я сам вижу Вашу позицию, как какую-то общерелигиозную позицию, несмотря на […]

ВБ: Ну она философская...

ФБ: Потому что Вы думаете, что *есть* self. Но современный западный человек должен создать себя. У него нет никакого фундамента, он должен выбрать то или это, чтобы создать себя. Я думаю, что [вопрос] следующего века будет о том, какой есть этот человек. Понимаете?

ВБ: Ну да. То есть им предстоит как бы переосмыслить это философское наследие и найти для себя применимое.

ФБ: Да.

ВБ: Наверное. Думаю, что-то увидим. Всё не увидим, но что-то увидим. Я думаю, к концу века начнет проясняться. Сейчас уж очень гнусно. Сейчас всё пошло совсем наоборот. Какие-то феминистки, какие-то экологисты – это маразм, это агония, агония утопии. Вот такое что-то...

ФБ: Да... (Пауза) Ну, спасибо.

(Конец интервью)

<u>English summary</u>

*This is a condensed summary of the main points of the interview, in the first person, not an exact translation.*

VB: Your idea [to write about] conscience is good, but you must not forget that you are judging a very rare and exceptional phenomenon. Conscience emerges after Stalin in some people, but in others it did not emerge and could not emerge. There were very few in whom it could emerge. A communist is a person in whom conscience cannot act.

PB: What does conscience mean to you?

VB: People in the 60s did know what was right and wrong, even if they didn't live accordingly. Then it all got mixed up. It was not difficult to discern right from wrong; the question was rather whether a person had the courage to insist on it or not. You had to be a clinical idiot not to see certain things. For the most ordinary, basic person, it was impossible not to see. There is the story of the man who goes to the doctor, looking for medicine for his ears and eyes, saying that the problem is not that he does see what he hears and does not hear what he sees. We have the problem here of the conflicting flow of information. There is an obvious discrepancy between these two. This traumatises the personality. It is a psychological trauma when you always see lies. People who did not understand that this was a life did not exist. Even the clinical idiots with whom I was with in hospital understood this.

PB: How did you find the courage to follow your conscience?

VB: I wouldn't put too much stress on bravery. Let us say it was an accident, relating to the time of birth. For me, it was easier. Stalin died when I was eleven years old. And his unmasking occurred when I was fourteen years old. It ws that time of one's life when one's impressions are formed, when he naturally rebels. I personally never had any doubt that the system was full of vice and criminality, never any doubt at all. There were certain things that particularly struck me. Up until the age of fourteen, I was educated to think that Stalin was God., which certainly appeared to be a contradiction. So I already realised that I had been deceived. When they started to talk about the liver and the kidneys etc. Because God cannot die. My parents and the older generation were silent about this. it was only later that we began to discuss these ideas. For me, when I was eleven years old, I will never forget this scene. The town was blocked off with the death of Stalin. From the roof of the National we looked down at Manezhnaia Square with so many people. I remember two very specific feelings which I had at that time. Firstly, that this was a historic moment. And that there was no longer any power. There was no longer power. For an eleven-year-old boy, it was rather an unexpected thought. At that time, I could not express these sensations in words. The sense that there was no power was probably linked to the behavior of people. People normally behaved rather like puppets but at that moment they were spontaneous. At that moment, they were free. I remember the Stalin speech three years later specifically for the reaction of people – they accepted it. I realized something wasn't right with Stalin when he died, so the speech itself didn't surprise me so much as the reaction of people. Two years previously they had believed in him, whereas two years later they acquiesced. That must have meant they thought him a criminal all along. And those tears were really tears of hysteria. Things didn't coincide. And all this turned out to be a key influence on my life. I decided that I would never agree with the majority. In any situation, my reflecx would be ndver to agree with the majority. I saw a situation where everybody was wrong.

PB: Does that you always believed in the existence of truth?

VB: The idea of truth exists in everybody. I cannot move from that position to the existence of God. It simply means that the idea of truth corresponds to the structure of the brain. We have the concept of truth: that's the way our biology defines things. Just in the same way, we have the concept of equality, even if in nature there are no two equal things. I have studied the physiology of the brain, and I understand the issue from that.

PB: Why did you, and your school friends, with the same brains, choose different roads?

VB: I didn't make a choice. That only became clear afterwards. The concepts of truth and falsehood are inbuilt. So the conclusion was that everyone sees the same thing. It was the reaction of people that was inadequate. The invasion of Hungary had a stronger effect on me than the unmasking of Stalin. It showed that nothing had changed. What had been said about the crimes of Stalin had not changed anything. In addition, young people had been responsible for the Hungarian revolution, and it was easy for me to identify myself with these events. People older than me would respond differently.

PB: Are you then the product of the peculiar circumstances of your life?

VB: Yes, to the extent that these events occurred when I was so young. I declare that the same complex of thought would have appeared in any other person at a later date, perhaps less strongly. Others would have been drawn into the system already by the time such thoughts occurred. For example, when I was fourteen years old I was invited to join the Komsomol and I refused. I refused immediately. And rather instinctively, because I probably couldn't explain the cause of my behaviour. But I immediately said to myself that this would be something criminal, connected with vice. Better to avoid it. It was the same feeling I had regarding Stalin, Hungary and on on: that is something I do not want. Even though I was immediately told: if you want to go to university you have to be in the Komsomol. There you are: my first serious political decision, although I could not actually formulate such a position.

PB: How do you explain your strength/hardness?

VB: It is character. Some people are more stubborn; others less so. It is a question of one's nature. I think that in most families, questions about the past were raised. Questions by teenage children about the part their parents played etc. Then an endless series of philosophical issues would arise. … I remember, when I was seven years old, an old man was arrested in our courtyard. Although no one actually saw it. But we got up in the morning and everyone said that he had bene taken away during the night. If I, when just seven years old, knew this, how could my parents not know it. They knew, of course. The human being is a conceptual machine. He always seeks to justify his choices. He is always drawn to the most comfortable path. But he sometimes comes into conflict with the concept of conscience. And to justify that, a person thinks up various rationalizations. I have a family; if I do that the family will suffer, and therefore I have no right to do that. I have a talent, I have a wonderful voice. There starts the whole cycle of justifications, which enable one to make the choice. And we understood all this after talking with our parents. They believed because they didn't know; they didn't know because they were afraid. Then you get a whole cycle of arguments which emerge from the self-justification. We began to understand all this when I was about fifteen or sixteen years old. And applying this to oneself, one started to analyze one's own motives. And it is so easy to deceive oneself. Then you start to question yourself and know the need to be more circumspect. That is what happens in this situation. It could have turned out very differently if I had been born fifteen years earlier. I do not know what would have happened. Although I am sure that even then I would have come into conflict with the state somehow or other. Everyone came into conflict with the state, but they resolved the conflict differently.

PB: Your passion to tell the truth is not explicable if you explain it only by character/

VB: I have a hypersensitivity to that because I was deceived in childhood. I was deceived; I was told Stalin was a God. Of course my generation was more cautious in regard to this. But for me it was a personal trauma. I could never believe them any more. That raises the sensitivity. The element of character was of course also important; I am stubborn.

PB: Were there any moments in your life when according to your own ethics you committed some kind of sin?

VB: Of course there were such occasions, but they were marginal to the extent that I had already made the fundamental, global decision. For example, at one point it was considered ok to admit one's guilt while under investigation. The older generation told us that you should never refuse to confess otherwise you would be tortured. Confess and repent. The other side of this was to say that it was normal to become a Soviet person. I was arrested for the first time when I was eighteen years old. I didn't confess to anything, but I pretended to be Soviet because the philosophy of that time suggested it was fine to try and deceive your opponent so that you got out of the situation. It was a rational way out. It didn't harm anyone. But it later emerged that I had harmed myself. Next time I was arrested, they, knowing that I was not really Soviet by nature at all, nevertheless felt that I had slightly given way. And the result was that later they tried to put greater pressure on me. I didn't then particularly like that philosophy, but I was quite happy to go along with it. When I was arrested next, they felt that they could break me. Tha man had given way just slightly and therefore one could put even greater pressure on. So I understood that once I had accepted to be Soviet, the final end of that would be that I was guilty. And you would suddenly find yourself on their side. When you decided that your approach to the system was a matter of life and death, it of course affected all your relationships, because it meant that certain people could no longer be your friends. And of course a lot of people do not want to have contact with you either. The presence of the system was at that time so strong that one's relationship to it defined all the rest of one's life. Even one's interests in literature and art. Regarding the question of the global and the peripheral, if you strategically oppose the system, but for tactical reasons feel that you have to work within it by subterfuge, you will end up either breaking with the system, or abandoning the strategic side of your convictions for the tactical. The two are incompatible. So I understood that tactical considerations would not push out the strategic.

PB: You presumably had friends who started to participate, but then drew back?

VB: Yes, many. And the other way round; those who started off with me., and then later got drawn in by the tactical and became informers. And then those approached the whole thing differently and found out that they could not endure being in the system. The key appears to be whether the initial decision was tactical or strategic. Of course, there were old communist believers: Grigorenko, Kosterin, Pisarev. They were honest people. For example, Pisarev was put in prison five times. He would not accept dishonesty. He was an extremely honest man. He could never understand that his communist idea could lead to anything different. Grigorenko became a religious man. Kosterin and Pisarev died; I am not sure what they came to in the end. Of course, I disagreed totally with these people, but you could be with these people nevertheless because they were honest. They would not call black white. Some artists squandered their talent and corrupted it. Such decisions would fly back at you like a boomerang. Ernst Neizvestny was totally involved in the system and then got out. Solzhenitsyn's 'Live Not by the Lie' came later. His phrase is slightly more theological than the one I would use.

PB: Would you use the words 'good' and 'evil' to define the Soviet system?

VB: In general, yes. The interesting thing is that the most unexpected people started to use such phraseology. Recently a Jewsh friend who I had been in prison with came to visit me

and, while being a totally unreligious man, said that you have got to understand that it was a 'system of evil'. And you couldn't be anything but against it. And in a way you won't come up with any non-religious language to describe the system because the system itself was pseudo-religious. It was constructed like a cult, like a system of religion. And that is why you need religious terms to describe it. And that is why the word 'evil' is most accurate. That is why Reagan's words, 'empire of evil', became a catchphrase in the Soviet world. I remember being very impressed by the film 'Judgement at Nuremberg' - the moral collision that was present there and its resolution. 'To be correct is not to be right, and nothing on God's earth can make it right.'

PB: I asked [a person] if his decision not to obey the KGB was out of religious conviction, or because he didn't want to damage himself. He said the latter = that he would simply have disintegrated. Can we then describe evil, not only in religious terms, but also as something that is against the real human being?

VB: The latter is a more profound religious terminology. It is a question of the soul. The philosophers will say that the soul emerges as you make choices. Which is true. I believe that every human being always has a choice. The one who says that I have no choice stops being a person. And the feeling that you are not a human being any longer, but a thing, is very destructive. Evil turns the human being into matter. It is a very important moment when a man loses control of himself.

PB: How can a man who has become an object return to life?

VB: I don't think it is possible; he can only make attempts. But he would not be able to sustain it. I can think of people who became informers who tried hard to free themselves from the clutches of the KGB, people who confessed what they were doing. We knew that in dealing with such people, the security forces would deal with them much more savagely than with us. The one thing the KGB would never forgive was the attempts of such a person to go back. There were people who in solitude would immediately start to disintegrate.

PB: Does every person have a weakness?

VB: Probably so. It is difficult to judge. I didn't have. But for those who had children and the issue was the survival of children -- Solzhenitsyn talks about situations of such a type in 'The Oak and the Calf'. It is a very unusual man who would agree to the death of his children. The KGB did search for everyone's key. I don't think you could work in the nomenklatura while at the same time holding on to such a conscience.

PB: What about the people around Gorbachev: Shakhnazarov, Yakovlev?

VB: The Gorbachev crowd were unscrupulous. They effected a great deceit. They were intelligent. They were not liberals, rather very cynical people who were products of that system. Then they became too clever for their own good. It was a very well-thought-through campaign of communist disinformation. There were different people. Conscience awoke in Yeltsin the moment he was thrown out of the Central Committee, when he was on the edge of death in hospital. It was the moment of rebirth.

PB: The divine and humanist concepts of conscience: are they far from one another?

VB: They are not. The symbols are different, the categories of symbol are different -- God and the Devil, the humanist symbolism is different, but similar and less categorical. It is in this area that we now have the crisis of modern liberalism, liberal values. Because the liberals have accepted the relativity of these values. Back in the post WWII world, they still believed in the absoluteness of these values. As soon as you move to a relative position, the whole world starts to disintegrate. And the vacuum which we now see is related to this. As soon as you accept relativism, values disappear. The ethics of Christianity are at the foundation of our civilization. Even liberal ethics are Christian at foundation. Although I am not a religious man, I regard our ethics as Christian to the extent that we offered ourselves as a sacrifice – in a certain sense. We are atoning for the sin of another. It is a Christian model. We who offered ourselves as extreme victims were expiating for the sins of those who would not go down that road. And it is almost mathematically so. For if these people had not gone down the conformist road, then we would not have had to pay such a price. One can almost arithmetically work it out. Although I have never become religious, these categories are universal. Our civilization is nevertheless constructed around Christian ethics. And for us these ethical constructions are close and even natural. The question of redemption: the model of Christ is the great and basic one. Other models are lesser. Our sacrifice in Russia has not been accepted. The country never repented, didn't accept our sacrifice, did not build on what we have left, and that was the one chance for real health. There was no way out once they did not accept our experience. The Germans did have some experience of repentance, and it therefore allowed them to start something afresh. There was a chance of this happening in Russia, but it has passed. I suggested that, with the opening of the archives, we have, if not a Nuremburg Trial, an international tribunal to look at the whole system. Almost the whole Yeltsin entourage at the time agreed with the idea, except Yeltsin himself. I talked with his closest aides. They talked to him, but he did not respond. This was in September 1991, when everything was possible.

PB: Can a people repent?

VB: Of course

PB: Can a collective repent?

VB: Both the individual and a collective can repent, although the process starts in the individual. To the extent that people cannot comprehend their own guilt, they cannot search for a way out of it. There is a relation between a sense of responsibility and the attempt to put things right. Now in Russia there is this blame of foreigners and Jews. It is a dead situation. There will be nothing without an initial acceptance of one's own guilt and a corresponding attempt at righting things. I don't need a theological explanation for all these things, because the non-religious terminology seems to be adequate. There are of course various structures for explaining conscience. For example, animals by experiment have been shown that they cannot eat without thinking about the punishment of other animals. The mechanisms of conscience are one. A lot people now say that they regret the past, because it is comfortable to do so. But, in reality, they do not. Marxism and all utopian socialist ideas are based around the view that the human being is malleable – circumstances shape him.

The lie grew and grew, became so complicated that it could not contain itself any longer. An endless lie cannot produce anything. I wonder why the system collapsed so quickly; I always predicted that it would fall at the end of the century, and very violently. I wa wrong on both counts. The answer is that the elite lost the will to power. I think they stopped believing one another. Everything was built around a lie. There was a breakdown of trust in the army units which ran the coup; they knew the past, and they simply didn't believe their leaders. The elite had stopped believing in itself. There was therefore a spiritual factor. If it wasn't for some kind of spiritual factor, it would be inexplicable why everything collapsed so quickly. The duality within the elite reached its logical conclusion. Gorbachev and Yakovlev said at one point that he and Yakovlev understood that the system was unreformable. But they are real liars. Grogorenko changed his perspective over decades. Change and the awakening of conscience happened very slowly. Kalugin's book is very interesting, there is a lot of self-justification. Sudoplatov's book also.